

**В. Г. РАСПУТИН**  
**(1937– 2015)**



**УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО**

*Анастасии Прокопьевне Копыловой*

Странно: почему мы так же, как и перед родителями, всякий раз чувствуем свою вину перед учителями? И не за то вовсе, что было в школе, – нет, а за то, что случилось с нами после.

Я пошёл в пятый класс в сорок восьмом году. Правильней сказать, поехал: у нас в деревне была только начальная школа, поэтому, чтобы учиться дальше, мне пришлось снаряжаться из дому за пятьдесят километров в райцентр. За неделю раньше туда съездила мать, уговорила со своей знакомой, что я буду квартировать у неё, а в последний день августа дядя Ваня, шофёр единственной в колхозе полуторки, выгрузил меня на улице Подкаменной, где мне предстояло жить, помог занести в дом узел с постелью, ободряюще похлопал на прощанье по плечу и укатил. Так, в одиннадцать лет, началась моя самостоятельная жизнь.

Голод в тот год ещё не отпустил, а нас у матери было трое, я самый старший. Весной, когда пришлось особенно туго, я глотал сам и заставлял глотать сестрёнку глазки проросшей картошки и зёрна овса и ржи, чтобы развести посадки в животе, – тогда не придётся всё время думать о еде. Всё лето мы старательно поливали свои

семена чистой ангарской водичкой, но урожая почему-то не дождался или он был настолько мал, что мы его не почувствовали. Впрочем, я думаю, что затея эта не совсем бесполезная и человеку когда-нибудь ещё пригодится, а мы по неопытности что-то там делали неверно.

Трудно сказать, как решилась мать отпустить меня в район (райцентр у нас называли районом). Жили мы без отца, жили совсем плохо, и она, видно, рассудила, что хуже уже не будет – некуда. Учился я хорошо, в школу ходил с удовольствием и в деревне признавался за грамотея: писал за старух и читал письма, перебрал все книжки, которые оказались в нашей неказистой библиотеке, и по вечерам рассказывал из них ребятам всякие истории, больше того добавляя от себя. Но особенно в меня верили, когда дело касалось облигаций. Их за войну у людей скопилось много, таблицы выигрышей приходили часто, и тогда облигации несли ко мне. Считалось, что у меня счастливый глаз. Выигрыши и правда случались, чаще всего мелкие, но колхозник в те годы рад был любой копейке, а тут из моих рук сваливалась и совсем нечаянная удача. Радость от неё невольно перепадала и мне. Меня выделяли из деревенской ребятни, даже подкармливали; однажды дядя Илья, в общем-то скупой, прижимистый старик, выиграв четыреста рублей, сгоряча нагрёб мне ведро картошки – под весну это было не малое богатство.

И всё потому же, что я разбирался в номерах облигаций, матери говорили:

– Башковитый у тебя парень растёт. Ты это... давай учи его. Грамота зря не пропадёт.

И мать, наперекор всем несчастьям, собрала меня, хотя до того никто из нашей деревни в районе не учился. Я был первый. Да я и не понимал, как следует, что мне предстоит, какие испытания ждут меня, голубчика, на новом месте.

Учился я и тут хорошо. Что мне оставалось? – затем я сюда и приехал, другого дела у меня здесь не было, а относиться спустя рукава к тому, что на меня возлагалось, я тогда ещё не умел. Едва ли осмелился бы я пойти в школу, останься у меня невыученным

хоть один урок, поэтому по всем предметам, кроме французского, у меня держались пятёрки.

С французским у меня не ладилось из-за произношения. Я легко запоминал слова и обороты, быстро переводил, прекрасно справлялся с трудностями правописания, но произношение с головой выдавало всё мое ангарское происхождение вплоть до последнего колена, где никто сроду не выговаривал иностранных слов, если вообще подозревал об их существовании. Я шпарил по-французски на манер наших деревенских скороговорок, половину звуков за ненадобностью проглатывая, а вторую половину выпаливая короткими лающими очередями. Лидия Михайловна, учительница французского, слушая меня, бессильно морщилась и закрывала глаза. Ничего подобного она, конечно, не слыхивала. Снова и снова она показывала, как произносятся носовые, сочетания гласных, просила повторить – я терялся, язык у меня во рту деревенел и не двигался. Всё было впустую. Но самое страшное начиналось, когда я приходил из школы. Там я невольно отвлекался, всё время вынужден был что-то делать, там меня тормозили ребята, вместе с ними – хочешь не хочешь – приходилось двигаться, играть, а на уроках – работать. Но едва я оставался один, сразу наваливалась тоска – тоска по дому, по деревне. Никогда раньше даже на день я не отлучался из семьи и, конечно, не был готов к тому, чтобы жить среди чужих людей. Так мне было плохо, так горько и постыло! – хуже всякой болезни. Хотелось только одного, мечталось об одном – домой и домой. Я сильно похудел; мать, приехавшая в конце сентября, испугалась за меня. При ней я крепился, не жаловался и не плакал, но, когда она стала уезжать, не выдержал и с рёвом погнался за машиной. Мать махала мне рукой из кузова, чтобы я отстал, не позорил себя и её, я ничего не понимал. Тогда она решила и остановила машину.

– Собирайся, – потребовала она, когда я подошёл. Хватит, отучился, поедем домой.

Я опомнился и убежал.

Но похудел я не только из-за тоски по дому. К тому же ещё я постоянно недоедал. Осенью, пока дядя Ваня возил на своей

полуторке хлеб в Заготзерно, стоявшее неподалёку от райцентра, еду мне присылали довольно часто, примерно раз в неделю. Но вся беда в том, что мне её не хватало. Ничего там не было, кроме хлеба и картошки, изредка мать набивала в баночку творогу, который у кого-то под что-то брала: корову она не держала. Привезут – кажется много,хватишься через два дня – пусто. Я очень скоро стал замечать, что добрая половина моего хлеба куда-то самым таинственным образом исчезает. Проверил – так и есть: был – нету. То же самое творилось с картошкой. Кто потаскивал – тётя Надя ли, крикливая, замотанная женщина, которая одна мыкалась с тремя ребятишками, кто-то из её старших девочек или младший, Фёдка, – я не знал, я боялся даже думать об этом, не то что следить. Обидно было только, что мать ради меня отрывает последнее от своих, от сестрёнки с братишкой, а оно всё равно идёт мимо. Но я заставил себя смириться и с этим. Легче матери не станет, если она услышит правду.

Голод здесь совсем не походил на голод в деревне. Там всегда, и особенно осенью, можно было что-то перехватить, сорвать, выкопать, поднять, в Ангаре ходила рыба, в лесу летала птица. Тут для меня всё вокруг было пусто: чужие люди, чужие огороды, чужая земля. Небольшую речушку на десять рядов процеживали бреднями. Я как-то в воскресенье просидел с удочкой весь день и поймал трёх маленьких, с чайную ложку, пескариков – от такой рыбалки тоже не раздобреешь. Больше не ходил – что зря время переводить! По вечерам околачивался у чайной, на базаре, запоминая, что по чем продают, давился слюной и шёл ни с чем обратно. На плите у тети Нади стоял горячий чайник; пошвырвав гольного кипяточку и согрев желудок, ложился спать. Утром опять в школу. Так и дотягивал до того счастливого часа, когда к воротам подъезжала полуторка и в дверь стучал дядя Ваня. Наголодавшись и зная, что харч мой всё равно долго не продержится, как бы я его ни экономил, я наедался до отвала, до рези в животе, а затем, через день или два, снова подсаживал зубы на полку.

Однажды, ещё в сентябре, Фёдка спросил у меня:

– Ты в «чику» играть не боишься?

- В какую «чику»? – не понял я.
- Игра такая. На деньги. Если деньги есть, пойдём сыграем.
- Нету.
- И у меня нету. Пойдём так, хоть посмотрим. Увидишь, как здорово.

Федька повёл меня за огороды. Мы прошли по краю продолговатого, грядой, холма, сплошь заросшего крапивой, уже чёрной, спутанной, с отвисшими ядовитыми гроздьями семян, перебрались, прыгая по кучам, через старую свалку и в низинке, на чистой и ровной небольшой поляне, увидели ребят. Мы подошли. Ребята насторожились. Все они были примерно тех же лет, что и я, кроме одного – рослого и крепкого, заметного своей силой и властью, парня с длинной рыжей чёлкой. Я вспомнил: он ходил в седьмой класс.

- Этого ещё зачем привёл? – недовольно сказал он Федьке.
- Он свой, Вадик, свой, – стал оправдываться Федька. – Он у нас живёт.
- Играть будешь? – спросил меня Вадик.
- Денег нету.
- Гляди не вякни кому, что мы здесь.
- Вот ещё! – обиделся я.

Больше на меня не обращали внимания, я отошёл в сторонку и стал наблюдать. Играли не все – то шестеро, то семеро, остальные только глазели, болея в основном за Вадика. Хозяйничал здесь он, это я понял сразу.

Разобраться в игре ничего не стоило. Каждый выкладывал на кон по десять копеек, стопку монет решками вверх опускали на площадку, ограниченную жирной чертой метрах в двух от кассы, а с другой стороны, от валуна, вросшего в землю и служившего упором для передней ноги, бросали круглую каменную шайбу. Бросать её надо было с тем расчётом, чтобы она как можно ближе подкатилась к черте, но не вышла за неё, – тогда ты получал право первым разбивать кассу. Били всё той же шайбой, стараясь перевернуть монеты на орла. Перевернул – твоя, бей дальше, нет – отдай это право следующему. Но важней всего считалось ещё при

броске накрыть шайбой монеты, и если хоть одна из них оказывалась на орле, вся касса без разговоров переходила в твой карман, и игра начиналась снова.

Вадик хитрил. Он шёл к валуну после всех, когда полная картина очередности была у него перед глазами и он видел, куда бросать, чтобы выйти вперёд. Деньги доставались первым, до последних они доходили редко. Наверное, все понимали, что Вадик хитрит, но сказать ему об этом никто не смел. Правда, и играл он хорошо. Подходя к камню, чуть приседал, прищурившись, наводил шайбу на цель и неторопливо, плавно выпрямлялся – шайба выскальзывала из его руки и летела туда, куда он метил. Быстрым движением головы он забрасывал съехавшую чёлку наверх, небрежно сплёвывал в сторону, показывая, что дело сделано, и ленивым, нарочито замедленным шагом ступал к деньгам. Если они были в куче, бил резко, со звоном, одиночные же монетки трогал шайбой осторожно, с накатином, чтобы монетка не билась и не крутилась в воздухе, а, не поднимаясь высоко, всего лишь переваливалась на другую сторону. Никто больше так не умел. Ребята лупили наобум и доставали новые монеты, а кому нечего было доставать, переходили в зрители.

Мне казалось, что, будь у меня деньги, я бы смог играть. В деревне мы возились с бабками, но и там нужен точный глаз. А я, кроме того, любил придумывать для себя забавы на меткость: на беру горсть камней, отыщу цель потруднее и бросаю в неё до тех пор, пока не добьюсь полного результата – десять из десяти. Бросал и сверху, из-за плеча, и снизу, навешивая камень над целью. Так что кой-какая сноровка у меня была. Не было денег.

Мать потому и отправляла мне хлеб, что денег у нас не водилось, иначе я покупал бы его и здесь. Откуда им в колхозе взяться? Все же раза два она подкладывала мне в письмо по пятёрке – на молоко. На теперешние это пятьдесят копеек, не разживёшься, но всё равно деньги, на них на базаре можно было купить пять поллитровых баночек молока, по рублю за баночку. Молоко мне наказано пить от малокровия, у меня часто ни с того ни с сего принималась вдруг кружиться голова.

Но, получив пятёрку в третий раз, я не пошёл за молоком, а разменял её на мелочь и отправился за свалку. Место здесь было выбрано с толком, ничего не скажешь: полянка, замкнутая холмами, ниоткуда не просматривалась. В селе, на виду у взрослых, за такие игры гоняли, грозили директором и милицией. Тут нам никто не мешал. И недалеко, за десять минут добежишь.

В первый раз я спустил девяносто копеек, во второй – шестьдесят. Денег было, конечно, жалко, но я чувствовал, что приноравливаюсь к игре, рука постепенно привыкала к шайбе, училась отпускать для броска ровно столько силы, сколько требовалось, чтобы шайба пошла верно, глаза тоже учились заранее знать, куда она упадет и сколько ещё прокатится по земле. По вечерам, когда все расходились, я снова возвращался сюда, доставал из-под камня спрятанную Вадиком шайбу, выгребал из кармана свою мелочь и бросал, пока не темнело. Я добился того, что из десяти бросков три или четыре угадывали точно на деньги.

И наконец наступил день, когда я остался в выигрыше.

Осень стояла тёплая и сухая. Ещё и в октябре пригревало так, что можно было ходить в рубашке, дожди выпадали редко и казались случайными, ненароком занесёнными откуда-то из непогоды слабым попутным ветерком. Небо синело совсем по-летнему, но стало словно бы уже, и солнце заходило рано. Над холмами в чистые часы курился воздух, разнося горьковатый, дурманящий запах сухой полыни, ясно звучали дальние голоса, кричали отлетающие птицы. Трава на нашей поляне, пожелтевшая и сморённая, всё же осталась живой и мягкой, на ней возились свободные от игры, а лучше сказать, проигравшиеся ребята.

Теперь каждый день после школы я прибежал сюда. Ребята менялись, появлялись новички, и только Вадик не пропускал ни одной игры. Она без него и не начиналась. За Вадиком, как тень, следовал большеголовый, стриженный под машинку, коренастый парень, по прозвищу Птаха. В школе я Птаху до этого не встречал, но, забегая вперёд, скажу, что в третьей четверти он вдруг, как снег на голову, свалился на наш класс. Оказывается, остался в пятом на второй год и под каким-то предлогом устроил себе до января

каникулы. Птаха тоже обычно выигрывал, хоть и не так, как Вадик, поменьше, но в убытке не оставался. Да потому, наверно, и не оставался, что был заодно с Вадиком и тот ему потихоньку помогал.

Из нашего класса на полянку иногда набегал Тишкин, суетливый, с моргающими глазёнками мальчишка, любивший на уроках поднимать руку. Знает, не знает – всё равно тянет. Вызовут – молчит.

– Что ж ты руку поднимал? – спрашивают Тишкина.

Он шлёпал своими глазёнками:

– Я помнил, а пока вставал, забыл.

Я с ним не дружил. От робости, молчаливости, излишней деревенской замкнутости, а главное – от дикой тоски по дому, не оставившей во мне никаких желаний, ни с кем из ребят я тогда ещё не сошёлся. Их ко мне тоже не тянуло, я оставался один, не понимая и не выделяя из горького своего положения одиночества: один – потому что здесь, а не дома, не в деревне, там у меня товарищей много.

Тишкин, казалось, и не замечал меня на полянке. Быстро проигравшись, он исчезал и появлялся снова не скоро.

А я выигрывал. Я стал выигрывать постоянно, каждый день. У меня был свой расчёт: не надо катать шайбу по площадке, добиваясь права на первый удар; когда много играющих, это не просто: чем ближе тянешься к черте, тем больше опасности перевалить за неё и остаться последним. Надо накрывать кассу при броске. Так я и делал. Конечно, я рисковал, но при моей сноровке это был оправданный риск. Я мог проиграть три, четыре раза подряд, зато на пятый, забрав кассу, возвращал свой проигрыш тройне. Снова проигрывал и снова возвращал. Мне редко приходилось стучать шайбой по монетам, но и тут я пользовался своим приёмом: если Вадик бил с накатом на себя, я, наоборот, тюкал от себя – так было непривычно, но так шайба придерживала монету, не давала ей вертеться и, отходя, переворачивала вслед за собой.

Теперь у меня появились деньги. Я не позволял себе чересчур увлекаться игрой и торчать на полянке до вечера, мне нужен был только рубль, каждый день по рублю. Получив его, я убежал,

покупал на базаре баночку молока (тётки ворчали, глядя на мои погнутые, побитые, истерзанные монеты, но молоко наливали), обедал и садился за уроки. Досыта всё равно я не наедался, но уже одна мысль, что я пью молоко, прибавляла мне силы и смиряла голод. Мне стало казаться, что и голова теперь у меня кружится гораздо меньше.

Поначалу Вадик спокойно относился к моим выигрышам. Он и сам не оставался внакладе, а из его карманов вряд ли мне что-нибудь перепало. Иногда он даже похваливал меня: вот, мол, как надо бросать, учитеесь, мазились. Однако вскоре Вадик заметил, что я слишком быстро выхожу из игры, и однажды остановил меня:

- Ты что это – загрёб кассу и драть? Ишь шустрый какой! Играй.
- Мне уроки надо, Вадик, делать, – стал отговариваться я.
- Кому надо делать уроки, тот сюда не ходит.

А Птаха подпел:

– Кто тебе сказал, что так играют на деньги? За это, хочешь знать, бьют маленько. Понял?

Больше Вадик не давал мне шайбу раньше себя и подпускал к камню только последним. Он хорошо бросал, и нередко я лез в карман за новой монетой, не прикоснувшись к шайбе. Но я бросал лучше, и если уж мне доставалась возможность бросать, шайба, как намагниченная, летела точно на деньги. Я и сам удивлялся своей меткости, мне надо бы догадаться придержать её, играть незаметней, а я бесхитростно и безжалостно продолжал бомбить кассу. Откуда мне было знать, что никогда и никому ещё не прощалоось, если в своём деле он вырывается вперёд? Не жди тогда пощады, не ищи заступничества, для других он выскочка, и больше всех ненавидит его тот, кто идёт за ним следом. Эту науку мне пришлось в ту осень постигнуть на собственной шкуре.

Я только что опять угодил в деньги и шёл собирать их, когда заметил, что Вадик наступил ногой на одну из рассыпавшихся по сторонам монет. Все остальные лежали вверх решками. В таких случаях при броске обычно кричат «в склад!», чтобы – если не окажется орла – собрать для удара деньги в одну кучу, но я, как всегда, понадеялся на удачу и не крикнул.

– Не в склад! – объявил Вадик.

Я подошёл к нему и попытался сдвинуть его ногу с монеты, но он оттолкнул меня, быстро схватил её с земли и показал мне решку. Я успел заметить, что монета была на орле, – иначе он не стал бы её закрывать.

– Ты перевернул её, – сказал я. – Она была на орле, я видел.

Он сунул мне под нос кулак.

– А этого ты не видел? Понюхай, чем пахнет.

Мне пришлось смириться. Настаивать на своем было бессмысленно; если начнется драка, никто, ни одна душа за меня не заступится, даже Тишкин, который вертелся тут же.

Злые, прищуренные глаза Вадика смотрели на меня в упор. Я нагнулся, тихонько ударил по ближней монете, перевернул её и подвинул вторую. «Хлюзда на правду наведёт, – решил я. – Всё равно я их сейчас все заберу». Снова наставил шайбу для удара, но опустить уже не успел: кто-то вдруг сильно поддал мне сзади коленом, и я неловко, склоненной вниз головой, ткнулся в землю. Вокруг засмеялись.

За мной, ожидающе улыбаясь, стоял Птаха. Я опешил:

– Чего-о ты?!

– Кто тебе сказал, что это я? – отперся он. – Приснилось, что ли?

– Давай сюда! – Вадик протянул руку за шайбой, но я не отдал её. Обида перехлестнула во мне страх, ничего на свете я больше не боялся. За что? За что они так со мной? Что я им сделал?

– Давай сюда! – потребовал Вадик.

– Ты перевернул ту монетку! – крикнул я ему. – Я видел, что перевернул. Видел.

– Ну-ка, повтори, – надвигаясь на меня, попросил он.

– Ты перевернул её, – уже тише сказал я, хорошо зная, что за этим последует.

Первым, опять сзади, меня ударил Птаха. Я полетел на Вадика, он быстро и ловко, не примериваясь, поддел меня головой в лицо, и я упал, из носу у меня брызнула кровь. Едва я вскочил, на меня снова набросился Птаха. Можно было ещё вырваться и убежать, но я почему-то не подумал об этом. Я вертелся меж Вадиком

и Птахой, почти не защищаясь, зажимая ладонью нос, из которого хлестала кровь, и в отчаянии, добавляя им ярости, упрямо выкрикивая одно и то же:

– Перевернул! Перевернул! Перевернул!

Они били меня по очереди, один и второй, один и второй. Кто-то третий, маленький и злобный, пинал меня по ногам, потом они почти сплошь покрылись синяками. Я старался только не упасть, ни за что больше не упасть, даже в те минуты мне казалось это позором. Но в конце концов они повалили меня на землю и остановились.

– Иди отсюда, пока живой! – скомандовал Вадик. – Быстро!

Я поднялся и, всхлипывая, швыркая омертвевшим носом, поплёлся в гору.

– Только вякни кому – убьём! – пообещал мне вслед Вадик.

Я не ответил. Всё во мне как-то затвердело и сомкнулось в обиде, у меня не было сил достать из себя слово. И, только поднявшись на гору, я не утерпел и, словно сдурев, закричал что было мочи – так что слышал, наверное, весь посёлок:

– Переверну-у-ул!

За мной кинулся было Птах, но сразу вернулся – видно, Вадик рассудил, что с меня хватит, и остановил его. Минут пять я стоял и, всхлипывая, смотрел на полянку, где снова началась игра, затем спустился по другой стороне холма к ложбинке, затянутой вокруг черной крапивой, упал на жёсткую сухую траву и, не сдерживаясь больше, горько, навзрыд заплакал.

Не было в тот день и не могло быть во всем белом свете человека несчастнее меня.

Утром я со страхом смотрел на себя в зеркало: нос вспух и раздулся, под левым глазом синяк, а ниже его, на щеке, изгибается жирная кровавая ссадина. Как идти в школу в таком виде, я не представлял, но как-то идти надо было, пропускать по какой бы то ни было причине уроки я не решался. Допустим, носы у людей и от природы случаются почище моего, и если бы не привычное место, ни за что не догадаешься, что это нос, но ссадину и синяк ничем оправдать нельзя: сразу видно, что они красуются тут не по моей доброй воле.

Прикрывая глаз рукой, я юркнул в класс, сел за свою парту и опустил голову. Первым уроком, как назло, был французский. Лидия Михайловна, по праву классного руководителя, интересовалась нами больше других учителей, и скрыть от неё что-либо было трудно. Она входила, здоровалась, но до того, как посадить класс, имела привычку внимательным образом осматривать почти каждого из нас, делая будто бы и шутливые, но обязательные для исполнения замечания. И знаки на моём лице она, конечно, увидела сразу, хоть я, как мог, и прятал их; я понял это потому, что на меня стали оборачиваться ребята.

– Ну вот, – сказала Лидия Михайловна, открывая журнал. – Сегодня среди нас есть раненные.

Класс засмеялся, а Лидия Михайловна снова подняла на меня глаза. Они у неё косили и смотрели словно бы мимо, но мы к тому времени уже научились распознавать, куда они смотрят.

– И что случилось? – спросила она.

– Упал, – брякнул я, почему-то не догадавшись заранее придумать хоть мало-мальски приличное объяснение.

– Ой, как неудачно. Вчера упал или сегодня?

– Сегодня. Нет, вчера вечером, когда темно было.

– Хи, упал! – выкрикнул Тишкин, захлебываясь от радости. – Это ему Вадик из седьмого класса поднёс. Они на деньги играли, а он стал спорить и заработал. Я же видел. А говорит, упал.

Я остолбенел от такого предательства. Он что – совсем ничего не понимает или это он нарочно? За игру на деньги нас в два счёта могли выгнать из школы. Доигрался. В голове у меня от страха всё всполошилось и загудело: пропал, теперь пропал. Ну, Тишкин. Вот Тишкин так Тишкин. Обрадовал. Внёс ясность – нечего сказать.

– Тебя, Тишкин, я хотела спросить совсем другое, – не удивляясь и не меняя спокойного, чуть безразличного тона, остановила его Лидия Михайловна. – Иди к доске, раз уж ты разговорился, и приготовься отвечать. Она подождала, пока растерявшийся, ставший сразу несчастным Тишкин выйдет к доске, и коротко сказала мне: – После уроков останешься.

Больше всего я боялся, что Лидия Михайловна потащит меня

к директору. Это значит, что, кроме сегодняшней беседы, завтра меня выведут перед школьной линейкой и заставят рассказывать, что меня побудило заниматься этим грязным делом. Директор, Василий Андреевич, так и спрашивал провинившегося, что бы он ни творил, – разбил окно, подрался или курил в уборной: «Что тебя побудило заниматься этим грязным делом?» Он расхаживал перед линейкой, закинув руки за спину, вынося вперёд в такт широким шагам плечи, так что казалось, будто наглухо застёгнутый, оттопыривающийся тёмный френч двигается самостоятельно чуть поперед директора, и подгонял: «Отвечай, отвечай. Мы ждём, смотри, вся школа ждёт, что ты нам скажешь». Ученик начинал в своё оправдание что-нибудь бормотать, но директор обрывал его: «Ты мне на вопрос отвечай, на вопрос. Как был задан вопрос?» – «Что меня побудило?» – Вот именно: что побудило? Слушаем тебя». Дело обычно заканчивалось слезами, лишь после этого директор успокаивался, и мы расходились на занятия. Труднее было со старшеклассниками, которые не хотели плакать, но и не могли ответить на вопрос Василия Андреевича.

Однажды первый урок у нас начался с опозданием на десять минут, и всё это время директор допрашивал одного девятиклассника, но, так и не добившись от него ничего вразумительного, увёл к себе в кабинет.

А что, интересно, скажу я? Лучше бы сразу выгоняли. Я мельком, чуть коснувшись этой мысли, подумал, что тогда я смогу вернуться домой, и тут же, словно обжёгшись, испугался: нет, с таким позором и домой нельзя. Другое дело – если бы я сам бросил школу... Но и тогда про меня можно сказать, что я человек ненадёжный, раз не выдержал того, что хотел, а тут и вовсе меня станут чураться каждый. Нет, только не так. Я бы ещё потерпел здесь, я бы привык, но так домой ехать нельзя.

После уроков, замирая от страха, я ждал Лидию Михайловну в коридоре. Она вышла из учительской и, кивнув, завела меня в класс. Как всегда, она села за стол, я хотел устроиться за третьей партой, подальше от неё, но Лидия Михайловна показала мне на первую, прямо перед собой.

– Это правда, что ты играешь на деньги? – сразу начала она. Она спросила слишком громко, мне казалось, что в школе об этом нужно говорить только шёпотом, и я испугался ещё больше. Но за- пираться никакого смысла не было, Тишкин успел продать меня с потрохами. Я промямлил:

– Правда.

– Ну и как – выигрываешь или проигрываешь?

Я замялся, не зная, что лучше.

– Давай рассказывай, как есть. Проигрываешь, наверное?

– Вы... выигрываю.

– Хорошо, хоть так. Выигрываешь, значит. И что ты делаешь с деньгами?

В первое время в школе я долго не мог привыкнуть к голосу Лидии Михайловны, он сбивал меня с толку. У нас в деревне говори- ли, запахивая голос глубоко в нутро, и потому звучал он вволюш- ку, а у Лидии Михайловны он был каким-то мелким и легким, так что в него приходилось вслушиваться, и не от бессилия вовсе – она иногда могла сказать и всласть, а словно бы от притаённости и не- нужной экономии. Я готов был свалить всё на французский язык: конечно, пока училась, пока приноравливалась к чужой речи, го- лос без свободы сел, ослаб, как у птички в клетке, жди теперь, ког- да он опять разойдётся и окрепнет. Вот и сейчас Лидия Михайлов- на спрашивала так, будто была в это время занята чем-то другим, более важным, но от вопросов её всё равно было не уйти.

– Ну, так что ты делаешь с деньгами, которые выигрываешь? Покупаешь конфеты? Или книги? Или копишь на что-нибудь? Ведь у тебя их, наверное, теперь много?

– Нет, не много. Я только рубль выигрываю.

– И больше не играешь?

– Нет.

– А рубль? Почему рубль? Что ты с ним делаешь?

– Покупаю молоко.

– Молоко?

Она сидела передо мной аккуратная, вся умная и красивая, красивая и в одежде, и в своей женской молодой поре, которую

я смутно чувствовал, до меня доходил запах духов от неё, который я принимал за самое дыхание; к тому же она была учительницей не арифметики какой-нибудь, не истории, а загадочного французского языка, от которого тоже исходило что-то особое, сказочное, неподвластное любому-каждому, как, например, мне. Не смея поднять глаза на неё, я не посмел и обмануть её. Да и зачем, в конце концов, мне было обманывать?

Она помолчала, рассматривая меня, и я кожей почувствовал, как при взгляде её косящих внимательных глаз все мои беды и несуразности прямо-таки взбухают и наливаются своей дурной силой. Посмотреть, конечно, было на что: перед ней крючился на парте тощий диковатый мальчишка с разбитым лицом, неопрятный без матери и одинокий, в старом, застиранном пиджачишке на обвислых плечах, который впору был на груди, но из которого далеко вылезали руки; в перешитых из отцовских галифе и заправленных в чирки марких светло-зелёных штанах со следами вчерашней драки. Я ещё раньше заметил, с каким любопытством поглядывает Лидия Михайловна на мою обувь. Из всего класса в чирках ходил только я. Лишь на следующую осень, когда я наотрез отказался ехать в них в школу, мать продала швейную машину, единственную нашу ценность, и купила мне кирзовые сапоги.

– И всё-таки на деньги играть не надо, – задумчиво сказала Лидия Михайловна. – Обошёлся бы ты как-нибудь без этого. Можно обойтись?

Не смея поверить в своё спасение, я легко пообещал:

– Можно.

Я говорил искренне, но что поделаешь, если искренность нашу нельзя привязать верёвками.

Справедливости ради надо сказать, что в те дни мне пришлось совсем плохо. Колхоз наш по сухой осени рано рассчитался с хлебосдачей, и дядя Ваня больше не приезжал. Я знал, что дома мать места себе не находит, переживая за меня, но мне от этого было не легче. Мешок картошки, привезённый в последний раз дядей Ваней, испарился так быстро, будто ею кормили, по крайней мере, скот. Хорошо ещё, что, спохватившись, я догадался немножко

припрятать в стоящей во дворе заброшенной сараюшке, и вот теперь только этой притайкой и жил. После школы, крадучись, как вор, я шмыгал в сараюшку, совал несколько картофелин в карман и убегал за улицу, в холмы, чтобы где-нибудь в удобной и скрытой низинке развести огонь. Мне всё время хотелось есть, даже во сне я чувствовал, как по моему желудку прокатываются судорожные волны.

В надежде наткнуться на новую компанию игроков, я стал потихоньку обследовать соседние улицы, бродил по пустырям, следил за ребятами, которых заносило в холмы. Всё было напрасно, сезон кончился, подули холодные октябрьские ветры. И только по нашей полянке по-прежнему продолжали собираться ребята. Я кружил неподалеку, видел, как взблёскивает на солнце шайба, как, размахивая руками, командует Вадик и склоняются над кассой знакомые фигуры.

В конце концов я не выдержал и спустился к ним. Я знал, что иду на унижение, но не меньшим унижением было раз и навсегда смириться с тем, что меня избили и выгнали. Меня зудило посмотреть, как отнесутся к моему появлению Вадик и Птаха и как смогу держать себя я. Но больше всего подгонял голод. Мне нужен был рубль – уже не на молоко, а на хлеб. Других путей раздобыть его я не знал.

Я подошёл, и игра сама собой приостановилась, все уставились на меня. Птаха был в шапке с подвернутыми ушами, сидящей, как и всё на нём, беззаботно и смело, в клетчатой, навывпуск рубахе с короткими рукавами; Вадик форсил в красивой толстой куртке с замком. Рядом, сваленные в одну кучу, лежали фуфайки и пальтишки, на них, сжавшись под ветром, сидел маленький, лет пяти-шести, мальчишка.

Первым встретил меня Птаха:

– Чего пришёл? Давно не били?

– Играть пришёл, – как можно спокойней ответил я, глядя на Вадика.

– Кто тебе сказал, что с тобой, – Птаха выругался, – будут тут играть?

– Никто.

– Что, Вадик, сразу будем бить или подождём немножко?

– Чего ты пристал к человеку, Птаха? – щурясь на меня, сказал Вадик. – Понял, человек играть пришёл. Может, он у нас с тобой по десять рублей хочет выиграть?

– У вас нет по десять рублей, – только чтобы не казаться себе трусом, сказал я.

– У нас есть больше, чем тебе снилось. Ставь, не разговаривай, пока Птаха не рассердился. А то он человек горячий.

– Дать ему, Вадик?

– Не надо, пусть играет, – Вадик подмигнул ребятам. – Он здорово играет, мы ему в подмётки не годимся.

Теперь я был учёный и понимал, что это такое – доброта Вадика. Ему, видно, надоела скучная, неинтересная игра, поэтому, чтобы пощекотать себе нервы и почувствовать вкус настоящей игры, он и решил допустить в неё меня. Но как только я затрону его самолюбие, мне опять не поздоровится. Он найдёт, к чему придраться, рядом с ним Птаха.

Я решил играть осторожно и не зариться на кассу. Как и все, чтобы не выделяться, я катал шайбу, боясь ненароком угодить в деньги, потом тихонько тюкал по монетам и оглядывался, не зашёл ли сзади Птаха. В первые дни я не позволял себе мечтать о рубле; копеек двадцать-тридцать, на кусок хлеба, и то хорошо, и то давай сюда.

Но то, что должно было рано или поздно случиться, случается, случилось. На четвёртый день, когда, выиграв рубль, я собрался уйти, меня снова избили. Правда, на этот раз обошлось легче, но один след остался: у меня сильно вздулась губа. В школе приходилось её постоянно прикусывать. Но, как ни прятал я её, как ни прикусывал, а Лидия Михайловна разглядела. Она нарочно вызвала меня к доске и заставила читать французский текст. Я его с десятью здоровыми губами не смог бы правильно произнести, а об одной и говорить нечего.

– Хватит, ой, хватит! – испугалась Лидия Михайловна и замаха-ла на меня, как на нечистую силу, руками. – Да что же это такое?! Нет, придётся с тобой заниматься отдельно. Другого выхода нет.

Так начались для меня мучительные и неловкие дни. С самого утра я со страхом ждал того часа, когда мне придётся остаться наедине с Лидией Михайловной, и, ломая язык, повторять вслед за ней неудобные для произношения, придуманные только для наказания слова. Ну, зачем ещё, как не для издевательства, три гласные сливать в один толстый тягучий звук, то же «о», например, в слове «веаисоир» (много), которым можно подавиться? Зачем с каким-то пристонам пускать звуки через нос, когда испокон веков он служил человеку совсем для другой надобности? Зачем? Должны же существовать границы разумного. Я покрывался потом, краснел и задыхался, а Лидия Михайловна без передышки и без жалости заставляла меня мозолить бедный мой язык. И почему меня одного? В школе сколько угодно было ребят, которые говорили по-французски ничуть не лучше, чем я, однако они гуляли на свободе, делали что хотели, а я, как проклятый, отдувался один за всех.

Оказалось, что и это ещё не самое страшное. Лидия Михайловна вдруг решила, что времени в школе у нас до второй смены остаётся в обрез, и сказала, чтобы я по вечерам приходил к ней на квартиру. Жила она рядом со школой, в учительских домах. На другой, большей половине дома Лидии Михайловны жил сам директор. Я шёл туда как на пытку. И без того от природы робкий и стеснительный, теряющийся от любого пустяка, в этой чистенькой, аккуратной квартире учительницы я в первое время буквально каменел и боялся дышать. Мне надо было говорить, чтобы я раздевался, проходил в комнату, садился – меня приходилось передвигать, словно вещь, и чуть ли не силой добывать из меня слова. Моим успехам во французском это никак не способствовало. Но, странное дело, мы и занимались здесь меньше, чем в школе, где нам будто бы мешала вторая смена. Больше того, Лидия Михайловна, хлопоча что-нибудь по квартире, расспрашивала меня или рассказывала о себе. Подозреваю, это она нарочно для меня придумала, будто пошла на французский факультет потому лишь, что в школе этот язык ей тоже не давался и она решила доказать себе, что может овладеть им не хуже других.

Забившись в угол, я слушал, не чая дожидаться, когда меня отпустят домой. В комнате было много книг, на тумбочке у окна стоял большой красивый радиоприёмник; с проигрывателем – редкое по тем временам, а для меня и вовсе невиданное чудо. Лидия Михайловна ставила пластинки, и ловкий мужской голос опять-таки учил французскому языку. Так или иначе от него никуда было не деться. Лидия Михайловна в простом домашнем платье, в мягких войлочных туфлях ходила по комнате, заставляя меня вздрагивать и замирать, когда она приближалась ко мне. Я никак не мог поверить, что сижу у неё в доме, всё здесь было для меня слишком неожиданным и необыкновенным, даже воздух, пропитанный лёгкими и незнакомыми запахами иной, чем я знал, жизни. Невольно создавалось ощущение, словно я подглядываю эту жизнь со стороны, и от стыда и неловкости за себя я ещё глубже запахивался в свой кургузый пиджачишко.

Лидии Михайловне тогда было, наверное, лет двадцать пять или около того; я хорошо помню её правильное и потому не слишком живое лицо с прищуренными, чтобы скрыть в них косинку, глазами; тугую, редко раскрывающуюся до конца улыбку и совсем чёрные, коротко остриженные волосы. Но при всём этом не было видно в её лице жесткости, которая, как я позже заметил, становится с годами чуть ли не профессиональным признаком учителей, даже самых добрых и мягких по натуре, а было какое-то осторожное, с хитринкой, недоумение, относящееся к ней самой и словно говорившее: интересно, как я здесь очутилась и что я здесь делаю? Теперь я думаю, что она к тому времени успела побывать замужем; по голосу, по походке – мягкой, но уверенной, свободной, по всему её поведению в ней чувствовались смелость и опытность. А кроме того, я всегда придерживался мнения, что девушки, изучающие французский или испанский язык, становятся женщинами раньше своих сверстниц, которые занимаются, скажем, русским или немецким.

Стыдно сейчас вспомнить, как я пугался и терялся, когда Лидия Михайловна, закончив наш урок, звала меня ужинать. Будь я тысячу раз голоден, из меня пулей тут же выскакивал всякий

аппетит. Садиться за один стол с Лидией Михайловной! Нет, нет! Лучше я к завтрашнему дню наизусть выучу весь французский язык, чтобы никогда больше сюда не приходиться. Кусок хлеба, наверное, и вправду застрял бы у меня в горле. Кажется, до того я не подозревал, что и Лидия Михайловна тоже, как все мы, питается самой обыкновенной едой, а не какой-нибудь манной небесной, — настолько она представлялась мне человеком необыкновенным, непохожим на всех остальных.

Я вскакивал и, бормоча, что сыт, что не хочу, пятился вдоль стенки к выходу. Лидия Михайловна смотрела на меня с удивлением и обидой, но остановить меня никакими силами было невозможно. Я убежал. Так повторялось несколько раз, затем Лидия Михайловна, отчаявшись, перестала приглашать меня за стол. Я вздохнул свободней.

Однажды мне сказали, что внизу, в раздевалке, для меня лежит посылка, которую занёс в школу какой-то мужик. Дядя Ваня, конечно, наш шофёр, — какой ещё мужик! Наверное, дом у нас был закрыт, а ждать меня с уроков дядя Ваня не мог — вот и оставил в раздевалке.

Я с трудом дотерпел до конца занятий и кинулся вниз. Тётя Вера, школьная уборщица, показала мне на стоящий в углу белый фанерный ящичек, в каких снаряжают посылки по почте. Я удивился: почему в ящичке? — мать обычно отправляла еду в обыкновенном мешке. Может быть, это и не мне вовсе? Нет, на крышке были выведены мой класс и моя фамилия. Видно, написал уже здесь дядя Ваня — чтобы не перепутали, для кого. Что это мать выдумала заколачивать продукты в ящик?! Смотрите, какой интеллигентной стала!

Нести посылку домой, не узнав, что в ней, я не мог: не то терпение. Ясно, что там не картошка. Для хлеба тара тоже, пожалуй, маловата, да и неудобна. К тому же хлеб мне отправляли недавно, он у меня ещё был. Тогда что там? Тут же, в школе, я забрался под лестницу, где, помнил, лежит топор, и, отыскав его, оторвал крышку. Под лестницей было темно, я вылез обратно и, воровато озираясь, поставил ящик на ближний подоконник.

Заглянув в посылку, я обомлел: сверху, прикрытые аккуратно большим белым листом бумаги, лежали макароны. Вот это да! Длинные жёлтые трубочки, уложенные одна к другой ровными рядами, вспыхнули на свету таким богатством, дороже которого для меня ничего не существовало. Теперь понятно, почему мать собрала ящик: чтобы макароны не поломались, не крошились, прибыли ко мне в целостности и сохранности. Я осторожно вынул одну трубочку, глянул, дунул в неё, и, не в состоянии больше сдерживаться, стал жадно хрумкать. Потом таким же образом взялся за вторую, за третью, размышляя, куда бы мне спрятать ящик, чтобы макароны не достались чересчур прожорливым мышам в кладовке моей хозяйки. Не для того мать их покупала, тратила последние деньги. Нет, макаронами я так просто не поущусь. Это вам не какая-нибудь картошка.

И вдруг я поперхнулся. Макароны... Действительно, где мать взяла макароны? Сроду их у нас в деревне не бывало, ни за какие шиши их там купить нельзя. Это что же тогда получается? Торопливо, в отчаянии и надежде, я разгрёб макароны и нашёл на дне ящичка несколько больших кусков сахара и две плитки гематогена. Гематоген подтвердил: посылку отправляла не мать. Кто же в таком случае, кто? Я ещё раз взглянул на крышку: мой класс, моя фамилия – мне. Интересно, очень интересно.

Я втиснул гвозди крышки на место и, оставив ящик на подоконнике, поднялся на второй этаж и постучал в учительскую. Лидия Михайловна уже ушла. Ничего, найдём, знаем, где живёт, бывали. Значит, вот как: не хочешь садиться за стол – получай продукты на дом. Значит, так. Не выйдет. Больше никому. Это не мать: она бы и записку не забыла вложить, рассказала бы, откуда, с каких приисков взялось такое богатство.

Когда я бочком влез с посылкой в дверь, Лидия Михайловна приняла вид, что ничего не понимает. Она смотрела на ящик, который я поставил перед ней на пол, и удивлённо спрашивала:

- Что это? Что такое ты принёс? Зачем?
- Это вы сделали, – сказал я дрожащим, срывающимся голосом.
- Что я сделала? О чём ты?

– Вы отправили в школу эту посылку. Я знаю, вы.

Я заметил, что Лидия Михайловна покраснела и смутилась. Это был тот единственный, очевидно, случай, когда я не боялся смотреть ей прямо в глаза. Мне было наплевать, учительница она или моя троюродная тётка. Тут спрашивал я, а не она, и спрашивал не на французском, а на русском языке, без всяких артиклей. Пусть отвечает.

– Почему ты решил, что это я?

– Потому что у нас там не бывает никаких макарон. И гематогену не бывает.

– Как! Совсем не бывает?! – Она изумилась так искренне, что выдала себя с головой.

– Совсем не бывает. Знать надо было.

Лидия Михайловна вдруг засмеялась и попыталась меня обнять, но я отстранился от неё.

– Действительно, надо было знать. Как же это я так?! – Она на минутку задумалась. – Но тут и догадаться трудно было – честное слово! Я же городской человек. Совсем, говоришь, не бывает? Что же у вас тогда бывает?

– Горох бывает. Редька бывает.

– Горох... редька... А у нас на Кубани яблоки бывают. Ох, сколько сейчас там яблок. Я нынче хотела поехать на Кубань, а приехала почему-то сюда. – Лидия Михайловна вздохнула и покосилась на меня. – Не злись. Я же хотела как лучше. Кто знал, что можно попасться на макаронах? Ничего, теперь буду умнее. А макароны эти ты возьми...

– Не возьму, – перебил я её.

– Ну, зачем ты так? Я знаю, что ты голодаешь. А я живу одна, денег у меня много. Я могу покупать что захочу, но ведь мне одной... Я и ем-то помаленьку, боюсь потолстеть.

– Я совсем не голодаю.

– Не спорь, пожалуйста, со мной, я знаю. Я говорила с твоей хозяйкой. Что плохого, если ты возьмёшь сейчас эти макароны и сварить себе сегодня хороший обед. Почему я не могу тебе помочь – единственный раз в жизни? Обещаю больше никаких посылок не подсовывать. Но эту, пожалуйста, возьми. Тебе надо

обязательно есть досыта, чтобы учиться. Сколько у нас в школе сытых лоботрясов, которые ни в чём ничего не соображают и никогда, наверное, не будут соображать, а ты способный мальчишка, школу тебе бросать нельзя.

Её голос начинал на меня действовать усыпляюще; я боялся, что она меня уговорит, и, сердясь на себя за то, что понимаю правоту Лидии Михайловны, и за то, что собираюсь её всё-таки не понять, я, мотая головой и бормоча что-то, выскочил за дверь.

Уроки наши на этом не прекратились, я продолжал ходить к Лидии Михайловне. Но теперь она взялась за меня по-настоящему. Она, видимо, решила: ну что ж, французский так французский. Правда, толк от этого выходил, постепенно я стал довольно сносно выговаривать французские слова, они уже не обрывались у моих ног тяжелыми булыжниками, а, позванивая, пытались куда-то лететь.

– Хорошо, – подбадривала меня Лидия Михайловна. – В этой четверти пятёрка ещё не получится, а в следующей – обязательно.

О посылке мы не вспоминали, но я на всякий случай держался настороже. Мало ли что Лидия Михайловна возьмётся ещё придумать? Я по себе знал: когда что-то не выходит, всё сделаешь для того, чтобы вышло, так просто не отступишься. Мне казалось, что Лидия Михайловна всё время ожидающе присматривается ко мне, а присматриваясь, посмеивается над моей диковатостью, – я злился, но злость эта, как ни странно, помогала мне держаться уверенней. Я уже был не тот безответный и беспомощный мальчишка, который боялся ступить здесь шагу, помаленьку я привыкал к Лидии Михайловне и к её квартире. Всё ещё, конечно, стеснялся, забивался в угол, пряча свои чирки под стул, но прежние скованность и угнетённость отступали, теперь я сам осмеливался задавать Лидии Михайловне вопросы и даже вступать с ней в споры.

Она сделала ещё попытку посадить меня за стол – напрасно. Тут я был непреклонен, упрямства во мне хватало на десятерых.

Наверное, уже можно было прекратить эти занятия на дому, самое главное я усвоил, язык мой отмяк и зашевелился, остальное со временем добавилось бы на школьных уроках. Впереди годы да годы. Что я потом стану делать, если от начала до конца выучу всё

одним разом? Но я не решался сказать об этом Лидии Михайловне, а она, видимо, вовсе не считала нашу программу выполненной, и я продолжал тянуть свою французскую лямку. Впрочем, лямку ли? Как-то невольно и незаметно, сам того не ожидая, я почувствовал вкус к языку и в свободные минуты без всякого понукания лез в словарь, заглядывал в дальние в учебнике тексты. Наказание превращалось в удовольствие. Меня ещё подстёгивало самолюбие: не получалось – получится, и получится – не хуже, чем у самых лучших. Из другого я теста, что ли? Если бы ещё не надо было ходить к Лидии Михайловне... Я бы сам, сам...

Однажды, недели через две после истории с посылкой, Лидия Михайловна, улыбаясь, спросила:

– Ну а на деньги ты больше не играешь? Или где-нибудь собираетесь в сторонке да поигрываете?

– Как же сейчас играть?! – удивился я, показывая взглядом за окно, где лежал снег.

– А что это была за игра? В чем она заключается?

– Зачем вам? – насторожился я.

– Интересно. Мы в детстве когда-то тоже играли. Вот и хочу знать, та это игра или нет. Расскажи, расскажи, не бойся.

Я рассказал, умолчав, конечно, про Вадика, про Птаху и о своих маленьких хитростях, которыми я пользовался в игре.

– Нет, – Лидия Михайловна покачала головой. – Мы играли в «пристенок». Знаешь, что это такое?

– Нет.

– Вот смотри. – Она легко выскочила из-за стола, за которым сидела, отыскала в сумочке монетки и отодвинула от стены стул. – Иди сюда, смотри. Я бью монетой о стену. – Лидия Михайловна легонько ударила, и монета, зазвенев, дугой отлетела на пол. – Теперь, – Лидия Михайловна сунула мне вторую монету в руку, – бьешь ты. Но имей в виду: бить надо так, чтобы твоя монета оказалась как можно ближе к моей. Чтобы их можно было замерить, достать пальцами одной руки. По-другому игра называется: замеряшки. Достанешь, – значит, выиграл. Бей.

Я ударил – моя монета, попав на ребро, покатила в угол.

– О-о, – махнула рукой Лидия Михайловна. – Далеко. Сейчас ты начинаешь. Учти: если моя монета заденет твою, хоть чуточку, краешком, – я выигрываю вдвойне. Понимаешь?

– Чего тут непонятного?

– Сыграем?

Я не поверил своим ушам:

– Как же я с вами буду играть?

– А что такое?

– Вы же учительница!

– Ну и что? Учительница – так другой человек, что ли? Иногда надоедает быть только учительницей, учить и учить без конца. Постоянно одёргивать себя: то нельзя, это нельзя, – Лидия Михайловна больше обычного прищурила глаза и задумчиво, отстраненно смотрела в окно. – Иной раз полезно забыть, что ты учительница, – не то такой сделаешься бякой и букой, что живым людям скучно с тобой станет. Для учителя, может быть, самое важное – не принимать себя всерьёз, понимать, что он может научить совсем немногому. – Она встряхнулась и сразу повеселела. – А я в детстве была отчаянной девчонкой, родители со мной натерпелись. Мне и теперь ещё часто хочется прыгать, скакать, куда-нибудь мчаться, что-нибудь делать не по программе, не по расписанию, а по желанию. Я тут, бывает, прыгаю, скачу. Человек стареет не тогда, когда он доживает до старости, а когда перестаёт быть ребёнком. Я бы с удовольствием каждый день прыгала, да за стенкой живёт Василий Андреевич. Он очень серьёзный человек. Ни в коем случае нельзя, чтобы он узнал, что мы играем в «замеряшки».

– Но мы не играем ни в какие «замеряшки». Вы только мне показали.

– Мы можем сыграть так просто, как говорят, понарошке. Но ты всё равно не выдавай меня Василию Андреевичу.

Господи, что творится на белом свете! Давно ли я до смерти боялся, что Лидия Михайловна за игру на деньги потащит меня к директору, а теперь она просит, чтобы я не выдавал её. Светопреставление – не иначе. Я озирался, неизвестно чего пугаясь, и растерянно хлопал глазами.

- Ну что – попробуем? Не понравится – бросим.
- Давайте, – нерешительно согласился я.
- Начинай.

Мы взялись за монеты. Видно было, что Лидия Михайловна когда-то действительно играла, а я только-только примеривался к игре, я ещё не выяснил для себя, как бить монетой о стену – ребром ли, или плашмя, на какой высоте и с какой силой когда лучше бросать. Мои удары шли вслепую; если бы вели счёт, я бы на первых же минутах проиграл довольно много, хотя ничего хитрого в этих «замеряшках» не было. Больше всего меня, разумеется, стесняло и угнетало, не давало мне освоиться то, что я играю с Лидией Михайловной. Ни в одном сне не могло такое присниться, ни в одной дурной мысли подуматься. Я опомнился не сразу и не легко, а когда опомнился и стал понемножку присматриваться к игре, Лидия Михайловна взяла и остановила её.

– Нет, так неинтересно, – сказала она, выпрямляясь и убирая съехавшие на глаза волосы. – Играть – так по-настоящему, а то что мы с тобой как трёхлетние малыши.

– Но тогда это будет игра на деньги, – несмело напомнил я.

– Конечно. А что мы с тобой в руках держим? Игру на деньги ничем другим подменить нельзя. Этим она хороша и плоха одновременно. Мы можем договориться о совсем маленькой ставке, а всё равно появится интерес.

Я молчал, не зная, что делать и как быть.

– Неужели боишься? – подзадорила меня Лидия Михайловна.

– Вот еще! Ничего я не боюсь.

У меня была с собой кой-какая мелочишка. Я отдал монету Лидии Михайловне и достал из кармана свою. Что ж, давайте играть по-настоящему, Лидия Михайловна, если хотите. Мне-то что – не я первый начал. Вадик попервости на меня тоже ноль внимания, а потом опомнился, полез с кулаками. Научился там, научусь и здесь. Это не французский язык, а я и французский скоро к зубам приберу.

Мне пришлось принять одно условие: поскольку руки у Лидии Михайловны больше и пальцы длиннее, она станет замерять большим и средним пальцами, а я, как и положено, большим и мизинцем. Это было справедливо, и я согласился.

Игра началась заново. Мы перебрались из комнаты в прихожую, где было свободнее, и били о ровную дощатую заборку. Били, опускались на колени, ползали по полу, задевая друг друга, растягивали пальцы, замеряя монеты, затем опять поднимаясь на ноги, и Лидия Михайловна объявляла счёт. Играла она шумно: вскрикивала, хлопала в ладоши, поддразнивала меня – одним словом, вела себя как обыкновенная девчонка, а не учительница, мне даже хотелось порой прикрикнуть. Но выигрывала тем не менее она, а я проигрывал. Я не успел опомниться, как на меня набежало восемьдесят копеек, с большим трудом мне удалось скостить этот долг до тридцати, но Лидия Михайловна издали попала своей монетой на мою, и счёт сразу подскочил до пятидесяти. Я начал волноваться. Мы договорились расплачиваться по окончании игры, но, если дело и дальше так пойдёт, моих денег уже очень скоро не хватит, их у меня чуть больше рубля. Значит, за рубль переваливать нельзя – не то позор, позор и стыд на всю жизнь.

И тут я неожиданно заметил, что Лидия Михайловна и не старается вовсе у меня выигрывать. При замерах её пальцы горбились, не выстилаясь во всю длину, – там, где она якобы не могла дотянуться до монеты, я дотягивался без всякой натуги. Это меня обидело, и я поднялся.

– Нет, – заявил я, – так я не играю. Зачем вы мне подыгрываете? Это нечестно.

– Но я действительно не могу их достать, – стала отказываться она. – У меня пальцы какие-то деревянные.

– Можете.

– Хорошо, хорошо, я буду стараться.

Не знаю, как в математике, а в жизни самое лучшее доказательство – от противного. Когда на следующий день я увидел, что Лидия Михайловна, чтобы коснуться монеты, исподтишка подталкивает её к пальцу, я обомлел. Взглядывая на меня и почему-то не замечая, что я прекрасно вижу её чистой воды мошенничество, она как ни в чем не бывало продолжала двигать монету.

– Что вы делаете? – возмутился я.

– Я? А что я делаю?

– Зачем вы её подвинули?

– Да нет же, она тут и лежала, – самым бессовестным образом, с какой-то даже радостью отперлась Лидия Михайловна ничуть не хуже Вадика или Птахи.

Вот это да! Учительница, называется! Я своими собственными глазами на расстоянии двадцати сантиметров видел, что она трогала монету, а она уверяет меня, что не трогала, да ещё и смеётся надо мной. За слепого, что ли, она меня принимает? За маленького? Французский язык преподаёт, называется. Я тут же напрочь забыл, что всего вчера Лидия Михайловна пыталась подыграть мне, и следил только за тем, чтобы она меня не обманула. Ну и ну! Лидия Михайловна, называется.

В этот день мы занимались французским минут пятнадцать-двадцать, а затем и того меньше. У нас появился другой интерес. Лидия Михайловна заставляла меня прочесть отрывок, делала замечания, по замечаниям выслушивала ещё раз, и мы не мешкая переходили к игре. После двух небольших проигрышей я стал выигрывать. Я быстро приловчился к «замеряшкам», разобрался во всех секретах, знал, как и куда бить, что делать в роли разыгрывающего, чтобы не подставить свою монету под замер.

И опять у меня появились деньги. Опять я бегал на базар и покупал молоко – теперь уже в мороженых кружках. Я осторожно срезал с кружка наплыв сливок, совал рассыпающиеся ледяные ломтики в рот и, ощущая во всём теле их сытую сладость, закрывал от удовольствия глаза. Затем переворачивал кружок вверх дном и долбил ножом сладковатый молочный отстой. Остаткам позволял растаять и выпивал их, заедая куском чёрного хлеба.

Ничего, жить можно было, а в скором будущем, как залечим раны войны, для всех обещали счастливое время.

Конечно, принимая деньги от Лидии Михайловны, я чувствовал себя неловко, но всякий раз успокаивался тем, что это честный выигрыш. Я никогда не напрашивался на игру, Лидия Михайловна предлагала её сама. Отказываться я не смел. Мне казалось, что игра доставляет ей удовольствие, она веселела, смеялась, тормозила меня.

Знать бы нам, чем это всё кончится...

...Стоя друг против друга на коленях, мы заспорили о счёте. Перед тем тоже, кажется, о чём-то спорили.

– Пойми ты, голова садовая, – напoлзая на меня и размахивая руками, доказывала Лидия Михайловна, – зачем мне тебя обманывать? Я веду счёт, а не ты, я лучше знаю. Я трижды подряд проиграла, а перед тем была «чика».

– «Чика» не считово.

– Почему это не считово?

Мы кричали, перебивая друг друга, когда до нас донесся удивленный, если не сказать, пораженный, но твердый, звенящий голос:

– Лидия Михайловна!

Мы замерли. В дверях стоял Василий Андреевич.

– Лидия Михайловна, что с вами? Что здесь происходит?

Лидия Михайловна медленно, очень медленно поднялась с колен, раскрасневшаяся и взлохмаченная, и, пригладив волосы, сказала:

– Я, Василий Андреевич, надеялась, что вы постучите, прежде чем входить сюда.

– Я стучал. Мне никто не ответил. Что здесь происходит? – объясните, пожалуйста. Я имею право знать как директор.

– Играем в «пристенок», – спокойно ответила Лидия Михайловна.

– Вы играете на деньги с этим?.. – Василий Андреевич ткнул в меня пальцем, и я со страху пополз за перегородку, чтобы укрыться в комнате. – Играете с учеником?! Я правильно вас понял?

– Правильно.

– Ну, знаете... – Директор задыхался, ему не хватало воздуха. – Я теряюсь сразу назвать ваш поступок. Это преступление. Растление. Сокращение. И ещё, ещё... Я двадцать лет работаю в школе, видывал всякое, но такое...

И он воздел над головой руки.

Через три дня Лидия Михайловна уехала. Накануне она встретила меня после школы и проводила до дому.

– Поеду к себе на Кубань, – сказала она, прощаясь. – А ты учись

спокойно, никто тебя за этот дурацкий случай не тронет. Тут виновата я. Учись, – она потрепала меня по голове и ушла.

И больше я её никогда не видел.

Среди зимы, уже после январских каникул, мне пришла на школу по почте посылка. Когда я открыл её, достав опять топор из-под лестницы, – аккуратными, плотными рядами в ней лежали трубочки макарон. А внизу в толстой ватной обертке я нашел три красных яблока.

Раньше я видел яблоки только на картинках, но догадался, что это они.